

## Б. Екимов. “Говори, мама, говори...”

По утрам теперь звонил телефон-мобильник. Черная коробочка оживала: загорался в ней свет, пела веселая музыка и объявлялся голос дочери, словно рядом она: — Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец! Вопросы и пожелания? Замечательно! Тогда целую. Будь-будь!

Коробочка тухла, смолкала. Старая Катерина дивилась на нее, не могла привыкнуть. Такая вроде малость — спичечный коробок. Никаких проводов. Лежит-лежит — и вдруг заиграет, засветит, и голос дочери:

— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Не надумала ехать? Гляди... Вопросов нет? Целую. Будь-будь!

А ведь до города, где дочь живет, полторы сотни верст. И не всегда легких, особенно в непогоду.

Но в год нынешний осень выдалась долгая, теплая. Возле хутора, на окрестных курганах, порыжела трава, а тополевое да вербовое займище возле Дона стояло зеленым, и по дворам по-летнему зеленели груши да вишни, хотя по времени им давно пора отгореть рдяным да багровым тихим пожаром.

Птичий перелет затянулся. Неспешно уходила на юг казарка, вызванивая где-то в туманистом, ненастном небе негромкое онг-онг... онг-онг...

Да что о птице говорить, если бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая от возраста, но еще проворная старушка, никак не могла собраться в отъезд.

— Кидаю умом, не накину... — жаловалась она соседке. — Ехать, не ехать?.. А может, так и будет тепло стоять? Гутарят по радио: навовсе поломалась погода. Ныне ведь пост пошел, а сороки ко двору не прибились. Тепло-растепло. Туды-сюды... Рождество да Крещение. А там пора об рассаде думать. Чего зря и ехать, колготу разводить.

Соседка лишь вздыхала: до весны, до рассады было еще ох как далеко.

Но старая Катерина, скорее себя убеждая, вынимала из пазухи еще один довод — мобильный телефон.

— Мобила! — горделиво повторяла она слова городского внука. — Одно слово — мобила. Нажал кнопку, и враз — Мария. Другую нажал — Коля. Кому хочешь жалься. И чего нам не жить? — вопрошала она. — Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство... Этот разговор был не первый. С детьми толковала, с соседкой, но чаще сама с собой. Последние годы она уезжала зимовать к дочери в город. Одно дело — возраст: трудно всякий день печку топить да воду носить из колодца. По грязи да в гололед. Упадешь, расшибешься. И кто поднимет?

Хутор, еще недавно людный, с кончиной колхоза разошелся, разъехался, вымер. Остались лишь старики да пьянь. И хлеб не возят, про остальное не говоря. Тяжело старому человеку зимовать. Вот и уезжала к своим.

Но с хутором, с гнездом насиженным нелегко расставаться. Куда девать малую живность: Тузика, кошку да кур? Распихивать по людям?.. И о хате душа болит. Пьянчуги залезут, последние кастрюльки упрут.

Да и не больно весело на старости лет новые углы обживать. Хоть и родные дети, но стены чужие и вовсе другая жизнь. Гостюй да оглядывайся.

Вот и думала: ехать, не ехать?.. А тут еще телефон привезли на подмогу — “мобилу”. Долго объясняли про кнопки: какие нажимать, а какие не трогать. Обычно звонила дочь из города, по утрам.

Запоет веселая музыка, вспыхнет в коробочке свет. Поначалу старой Катерине казалось, что там, словно в малом, но телевизоре, появится лицо дочери. Объявлялся лишь голос, далекий и ненадолго:

— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец. Вопросы есть? Вот и хорошо. Целую. Будь-будь.

Не успеешь опомниться, а уже свет потух, коробочка смолкла.

В первые дни старая Катерина лишь дивилась такому чуду. Прежде на хуторе был телефон в колхозной конторе. Там все привычно: провода, черная большая трубка, долго можно говорить. Но тот телефон уплыл вместе с колхозом. Теперь появился “мобильный”. И то слава богу.

— Мама! Слышишь меня?! Живая-здоровая? Молодец. Целую.

Не успеешь и рта раскрыть, а коробочка уж потухла.

— Это что за страсть такая... — ворчала старая женщина. — Не телефон, свиристелка. Прокукарекал: будь-будь... Вот тебе и будь. А тут...

А тут, то есть в жизни хуторской, старицкой, было много всего, о чем рассказать хотелось.

— Мама, слышишь меня?

— Слышу, слышу... Это ты, доча? А голос будто не твой, какой-то хрипавый. Ты не хвораешь? Гляди одевайся теплой. А то вы городские — модные, платок пуховый повяжи. И нехай глядят. Здоровье дороже. А то я ныне сон видала, такой нехороший. К чему бы? Вроде на нашем подворье стоит скотинья. Живая. Прямо у порога. Хвост у нее лошадиный, на голове — рога, а морда козья. Это что за страсть? И к чему бы такое?

— Мама, — донеслось из телефона строгое. — Говори по делу, а не про козьи морды. Мы же тебе объясняли: тариф.

— Прости Христа ради, — опомнилась старая женщина. Ее и впрямь упреждали, когда телефон привезли, что он дорогой и нужно говорить короче, о самом главном.

Но что оно в жизни главное? Особенно у старых людей... И в самом деле ведь привиделась ночью такая страсть: лошадиный хвост и козья страшная морда.

Вот и думай, к чему это? Наверное, не к добру.

Снова миновал день, за ним — другой. Старой женщины жизнь катилась привычно: подняться, прибраться, выпустить на волю кур; покормить да напоить свою малую живность да и самой чего поклевать. А потом пойдет цеплять дело за дело. Не зря говорят: хоть и дом невелик, а сидеть не велит.

Просторное подворье, которым когда-то кормилась немалая семья: огород, картофельник, левада. Сарай, закуты, курятник. Летняя кухня-мазанка, погреб с выходом. Плетневая городьба, забор. Земля, которую нужно копать помаленьку, пока тепло. И дровишки пилить, ширкая ручною пилой на забазье. Уголек нынче стал дорогуший, его не укупишь.

Помаленьку да полегоньку тянулся день, пасмурный, теплый. Онг-онг... онг-онг... — слышалось порой. Это казарка уходила на юг, стая за стай. Улетали, чтобы весной вернуться. А на земле, на хуторе было по-кладбищенски тихо. Уезжая, сюда люди уже не возвращались ни весной, ни летом. И потому редкие дома и подворья словно расползались по-рачьи, чураясь друг друга.

Прошел еще один день. А утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие травы стояли в легком куржаке — белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, глядела вокруг, на эту красоту, радуясь, а надо бы вниз, под ноги глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно ударившись о корневище.

Неловко начался день, да так и пошел не в лад.

Как всегда поутру, засветил и запел телефон мобильный.

— Здравствуй, моя доча, здравствуй. Одно лишь звание, что — живая. Я ныне так вдарилась, — пожаловалась она. — Не то нога подыграла, а может, склизь. Где, где... — подосадовала она. — Во дворе. Воротца пошла отворять, с ночи. А тама, возля ворот, там грушина-черномыска. Ты ее любишь. Она сладимая. Я из нее вам компот варю. Иначе бы я ее давно ликвидировала. Возля этой грушины...

— Мама, — раздался в телефоне далекий голос, — конкретней говори, что случилось, а не про сладимую грушину.

— А я тебе о чем и толкую. Тама корень из земли вылез, как змеюка. А я шла не глядела. Да тут еще глумордая кошка под ноги суется. Этот корень... Летось Володю просила до

скольких разов: убери его Христа ради. Он на самом ходу. Черномяска...

— Мама, говори, пожалуйста, конкретней. О себе, а не о черномяске. Не забывай, что это — мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала?

— Вроде бы не сломала, — все поняла старая женщина. — Прикладываю капустный лист. На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой себе пришлось досказывать: “Чего болит, не болит... Все у меня болит, каждая косточка. Такая жизнь позади...”

И, отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычными делами во дворе и в доме. Но старалась больше толочься под крышей, чтобы еще не упасть. А потом возле прялки уселась. Пушистая кудель, шерстяная нить, мерное вращение колеса старинной самопряхи. И мысли, словно нить, тянутся и тянутся. А за окном — день осенний, словно бы сумерки. И вроде зябко. Надо бы протопить, но дровишек — внатяг. Вдруг и впрямь зимовать придется.

В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого молчания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины:

— Болят ваши косточки?..

Так в пору и к месту были эти душевные слова, что ответилось само собой:

— Болят, моя доча...

— Ноют руки и ноги?.. — словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый голос.

— Спасу нет... Молодые были, не чуяли. В доярках да в свинарках. А обувка — никакая. А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и летом в них. Вот и нудят...

— Болит ваша спина... — мягко ворковал, словно заворачивая, женский голос.

— Заболит, моя доча... Век на горбу таскала чувалы да вахли с соломой. Как не болеть... Такая жизнь...

Жизнь ведь и вправду нележкой выдалась: война, сиротство, тяжкая колхозная работа. Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал, а потом смолк.

Старая женщина даже всплакнула, ругая себя: “Овечка глупая... Чего ревешь?..” Но плакалось. И от слез вроде бы стало легче.

И тут совсем неожиданно, в обеденный неурочный час, заиграла музыка и засветил, проснувшись, мобильный телефон. Старая женщина испугалась:

— Доча, доча... Чего случилось? Не заболел кто? А я всполохнулась: не к сроку звонишь.

Ты на меня, доча, не держи обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь взаправду чуток не убила. Тама, возля этой дулинки... — Она опомнилась: — Господи, опять я про эту дулинку, прости, моя доча...

Издали, через многие километры, донесся голос дочери:

— Говори, мама, говори...

— Вот я и гутарю. Ныне какая-то склизь. А тут еще эта кошка... Да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину навовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча... Опять я не то плету... Прости, моя доча. Ты слышишь меня?..

В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою: маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно: телефонная связь, видение.

— Говори, мама... — просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь. — Говори, мама, говори...